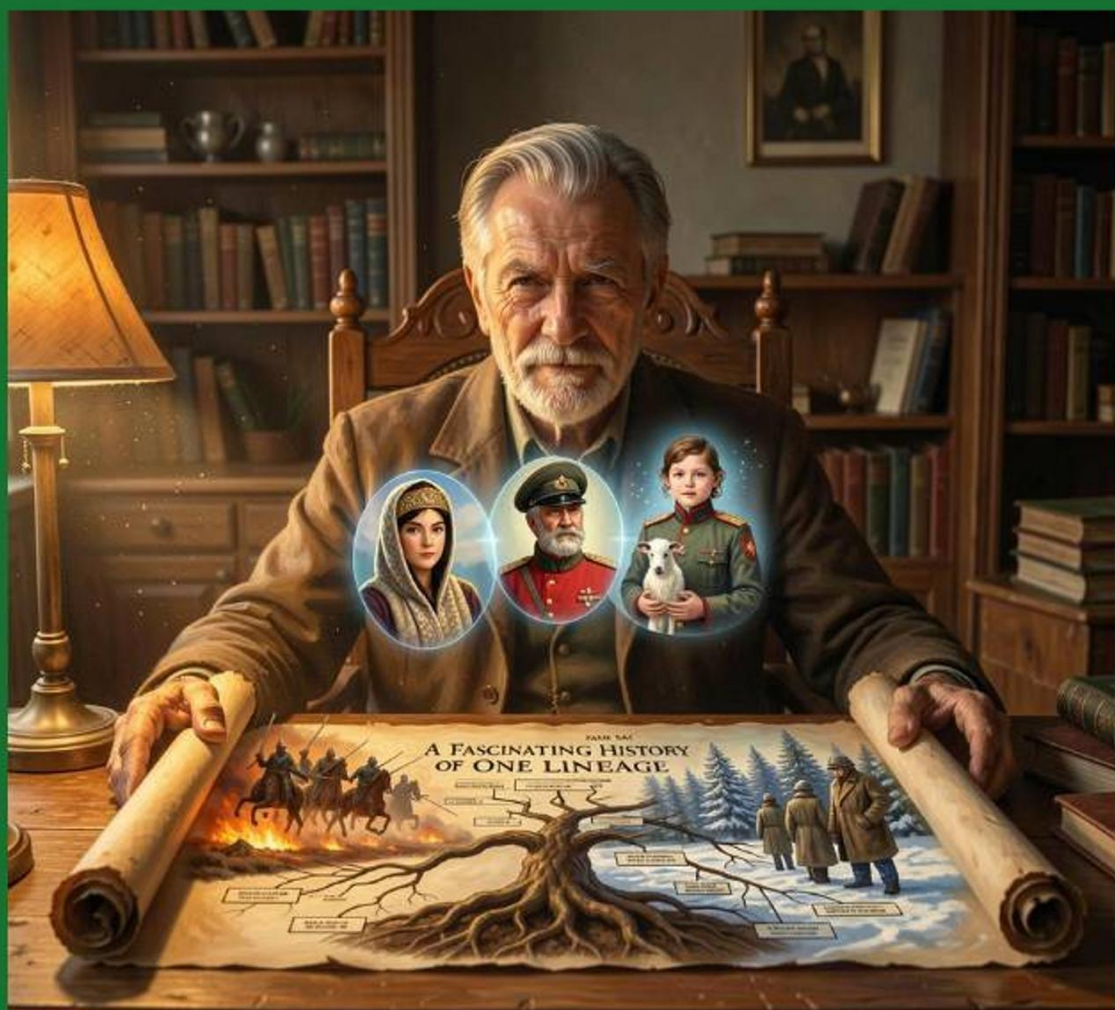


ВАЛЕРИЙ ЖИГЛОВ



**ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ОДНОЙ РОДОСЛОВНОЙ**

Валерий Жиглов

**Занимательная история
одной родословной**

«Автор»

2026

Жиглов В.

Занимательная история одной родословной / В. Жиглов —
«Автор», 2026

В этой книге нет кабинетной истории. Вы не найдете здесь пересказов учебников. Здесь будет то, что невозможно загнать в таблицы архивов: скрип седла, вкус воды из первого выкопанного колодца, липкий ужас ребенка, слышащего ночью вой степного ветра, похожий на голоса нападающих разбойников. Зачем это нужно сейчас? Зачем копаться в пыли веков, если вокруг столько новостей? Затем, что человек без памяти подобен дереву с отрезанными корнями. Оно еще зеленеет какое-то время, но первый же сильный ветер вырвет его из земли. Мои предки-казаки знали цену границам. Они знали, что граница проходит не только по контрольно-следовой полосе. Она проходит внутри — между долгом и трусостью, между памятью и забвением. Переверните страницу. Давайте стряхнем пыль с этих фотографий. Позвольте мертвым наконец рассказать вам свои очень занимательные, пронзительные и живые истории. Ведь пока хоть один потомок помнит их имена и слышит звук их шагов — они продолжают идти рядом с нами.

© Жиглов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Валерий Жиглов

Занимательная история одной родословной

Глава

Как судьбы моих предков стали картой моей собственной жизни

От автора

Пыль на старых фотографиях

Эта книга пахнет сухой степной полынью, горячим воском церковных свечей и чуть-чуть — старой типографской краской.

У каждого из нас дома есть шкатулка. Та самая, обитая выцветшим бархатом или просто перевязанная потрескавшейся бечевкой. Мы открываем ее редко, обычно раз в году, когда смахиваем пыль с сервантов перед большими праздниками. Внутри лежат старые фотографии, на которых застыли люди с бесконечно строгими и одновременно беззащитными лицами. Они смотрят сквозь столетие прямо нам в глаза.

Долгое время я думал, что это просто картинки. Предки. Графа в анкете. Те, кто умер так давно, что их боль и радость не имеют ко мне никакого отношения. Я жил в мире бетонных многоэтажек, цифровых уведомлений и вечной спешки, полагая, что моя жизнь началась с меня самого.

Я ошибался.

Однажды я посмотрел на портрет своего прапрадеда Кубышкина. На его тяжелые руки, лежащие на коленях, на суровый взгляд человека, видевшего слишком много смертей.

И я понял: Наша семья — это не набор отдельных людей, рождающихся и умирающих. Это единый живой организм. Корни держат нас в земле, которую они полили своим потом и кровью, а мы тянемся к солнцу благодаря тому, что они выжили. Их страхи стали нашей интуицией. Их воля стала нашим характером. А их ошибки — предупреждением, которое звучит у нас в крови тихим гулом, когда мы собираемся оступиться.

Моя родословная началась не с даты моего рождения. Она началась в 1870 году, когда десятилетний мальчик Митрий Кубышкин босыми ногами ступил на раскаленный азиатский песок. Империя отправила донских казаков укреплять границу России в Средней Азии. Взамен царь дал вольницу — свободу от налогов. Но цена этой бумажки с гербовой печатью измерялась не рублями. Она измерялась кровью во время внезапного джунгарского набега. Она измерялась песней «Обгорелые пятки» («Күйген өкшелер»), которую до сих пор плачет казахская домбра, вспоминая беглецов, спасавшихся босиком через пустыню под палящим солнцем.

В этой книге нет кабинетной истории. Вы не найдете здесь пересказов учебников. Здесь будет то, что невозможно загнать в таблицы архивов: скрип седла, вкус воды из первого выкопанного колодца, липкий ужас ребенка, слышащего ночью вой степного ветра, похожий на голоса нападающих разбойников.

Мы пройдем путь от вольного Дона до самых дальних рубежей Российской империи. Мы увидим, как государственная линия на карте превращается в живые казачьи пикеты. Как политика Императора Александра II отражается в судьбе одного мальчишки, который вчера гонял голубей на хуторе, а сегодня должен защищать чужую землю как свою собственную, потому что теперь эта земля — Россия.

Зачем это нужно сейчас? Зачем копаться в пыли веков, если вокруг столько новостей?

Затем, что человек без памяти подобен дереву с отрезанными корнями. Оно еще зеленеет какое-то время, но первый же сильный ветер вырвет его из земли. Мои предки-казаки знали

цену границам. Они знали, что граница проходит не только по контрольно-следовой полосе. Она проходит внутри — между долгом и трусостью, между памятью и забвением.

Переверните страницу. Давайте стряхнем пыль с этих фотографий. Позвольте мертвым наконец рассказать вам свои очень занимательные, пронзительные и живые истории. Ведь пока хоть один потомок помнит их имена и слышит звук их шагов — они продолжают идти рядом с нами.

1. Десятилетний атаманенок

Исторический контекст: В 1870 году карта Российской империи на юге напоминала лоскутное одеяло. После Туркестанских походов границы нужно было не просто провести чернилами по бумаге, а закрыть живой стеной. Донское казачье войско к тому моменту отмечало свое трехсотлетие — это были профессиональные воины с железной дисциплиной и генетической памятью о защите рубежей. Александр II подписал указ не ради прихоти: джунгарские и текинские набеги вырезали целые аулы, уводя людей в рабство за Сырдарью. Государству нужен был щит из лучшей стали. И этой сталью стали донцы. Отбирали лучших — «правил жизни хороших», годных здоровьем казаков, способных выставить воинов служилого разряда.

Сцена из памяти рода: Малец Кубышкин сидел на телеге спиной вперед, свесив босые ноги. Под полуденным солнцем азиатская степь гудела от зноя. Впереди, поднимая тучи рыжей пыли, тяжело шла колонна переселенцев. Три тысячи верст позади — от вольного Дона до этих чужих, продуваемых всеми ветрами земель.

Ему всего десять лет, но здесь, вдали от дома, он уже чувствует себя мужчиной. Отец сидит на облучке с трофейной турецкой фузеей — это захваченное в бою у неприятеля турецкое гладкоствольное ружьё с ударно-кремнёвым замком, применявшееся в XVII–XVIII веках. Мать дремлет, прижимая к груди узел с образами. А Кубышкин-младший охраняет самое ценное — привязанного сзади к телеге жеребёнка.

— Смотри, Митрий, чтоб Петька наш не спекся, — хрипло бросает отец, не поворачивая головы. — Казаку без лошади никак. Граница уже близко.

Для отца граница — это пикеты, кордонная стража и право первого выстрела. Для десятилетнего Митрия граница пока пахнет только сухой полыньёю и страхом перед чужими песками. Он слышал разговоры старших у костра. О том, что там, за Иртышом и дальше, в выжженной Средней Азии, земля горит под ногами в самом прямом смысле.

Мостик к легенде: Ночью, лежа под телегой, укрывшись отцовской буркой, мальчик слушает, как плачет ветер. И какая-то невидимая нить, связывающая этот дикий край с Петербургом, с самим Царем-Освободителем. Где-то там Император знает, что маленький казак Кубышкин сейчас спит на своей бурке ради спокойствия огромной страны.

А где-то далеко, в таких же песках, которые им предстоит защищать, казахский акын перебирает струны домбры. Он поет песню, которой суждено стать народной памятью о тех страшных временах — «Обгорелые пятки» («Күйген өкшелер»). Песню о людях, спасающихся в ранний утренний час от жестокого набега джунгар и выбежавших полуголыми и босыми из горящих юрт, чьи ступни обгорели в раскаленном песке под яростным азиатским дневным солнцем.

Мальчик еще не знает языка этой песни. Но через несколько месяцев, стоя в дозоре на новом казачьем форпосте, он увидит своими глазами, как быстро восходящее солнце превращает песок пустыни в кипящую сковороду. Его вольница — освобождение от налогов, которое дала Империя — была куплена ценой этого раскаленного песка.

Так род Кубышкиных перестал быть просто донским. Он стал пограничным. Частью того самого русского мира, который не завоевывал, а осваивал эти земли, вплетая свою кровь в местный грунт.

Кровь гор и парное золото Белухи

Солнце над Семиречьем жгло иначе, чем на Дону или построенным казаками у подножья очень красивых Тянь-Шанских гор городе Верном (нынешней Алматы). Здесь оно было сухим, разреженным, пахнувшим кедровой смолой и вечными снегами. Прошли годы с тех пор, как десятилетний Митрий Кубышкин сошел с телеги на азиатскую землю. Донские казаки давно сменили лампы: теперь они звались семиреченскими — по семи великим рекам, прорезающим эту долину между озерами Балхаш и Иссык-Куль.

Государева служба не заканчивалась никогда. Когда граница Империи окончательно успокоилась и кокандская угроза ушла в прошлое, часть войска получила новый приказ. Их переводили глубже в горы, на самый юг Сибири, к подножию двуглавой царицы Алтая — горы Белухи. Там, среди скал, били целебные родоновые ключи, а воздух был настолько густым, что его, казалось, можно пить.

Война с иноземными разбойничьими набегами не закончилась, но жизнь продолжалась.

Казачья станица у Белухи не была похожа на пыльный форпост. Это был остров изобилия посреди суровой тайги. Казаки промышляли зверя: соболя, куницу, медведя, рысь и красную лисицу. А в прозрачных водах стекающих с гор реки Берель и Урьль водились очень вкусные рыбы хариус и знаменитые большие таймени. В переводе с казахского название рыбы тай-мень означает мой-телёнок. Но главным богатством этих мест стал не мех. Главным золотом Горного Алтая оказался Марал.

Митрий, ставший уже зрелым бородатым урядником Михаилом, впервые увидел его на рассвете, когда повел коней на водопой к Ак-кему. Огромный самец стоял на уступе скалы. Почти четыре центнера живой мощи (до 340–400 кг), антрацитовая шерсть и корона рогов, которой позавидовал бы любой князь. Благородный олень, хозяин Саян и Алтая.

Но ценность марала заключалась не в мясе. Каждую весну природа совершала чудо: старые, окостеневшие рога спадали, и на их месте начинали расти новые — мягкие, покрытые нежной бархатистой кожей, пронизанные кровеносными сосудами. В них пульсировала молодая, яростная сила жизни. Местные племена называли их «живой кровью».

Казаки быстро переняли древнее ремесло алтайцев. Охота превратилась в ювелирную работу. Спилить панты нужно было в строго определенный день, пока хрящ внутри еще не превратился в кость. Одно неверное движение — и могучий зверь уходил в чащу с кровоточащей головой, а хозяйство теряло целое состояние.

Из этих теплых, живых рогов научились добывать главное сокровище — **пантокрин**.

В низенькой избе, пропаренной травами, мой прадед колдовал над медным перегонным кубом. Процесс требовал чутья аптекаря и терпения монаха. Свежие панты резали тонкими пластинами, вымачивали в спиртовом растворе и долго томили, выпаривая влагу. На выходе получался густой, темный экстракт, пахнувший диким медом, кровью и летним лугом. Жидкое золото Алтая.

Пантокрин творил чудеса. Он ставил на ноги старых казаков, чьи спины были переломаны в джунгарских сабельных рубках. Он возвращал мужскую силу уставшим от бесконечных переходов всадникам. Укреплял сердце, успокаивал нервы после набегов и лечил лихорадку лучше любого столичного доктора из Петербурга.

Семья Кубышкиных нашла свою алтайскую обитель. Теперь они сотрудничали с природой за сохранение этой животворящей силы и одними из первых в округе огородили огромные участки тайги, создав первые маральники. Вместо того чтобы убивать зверя ради одного трофея, они начали разводить стада.

Представьте картину: раннее утро в горах. Густой туман цепляется за верхушки вековых лиственниц. И сквозь этот туман плывут золотые пятна — стадо благородных маралов, которых

ведет старый седоусый казак с ведром соли. Дикие лесные демоны, признающие власть только этого человека.

Так моя родословная обрела свой утонченный шлейф. От запаха ружейной гари и сожженных кибиток мы пришли к запаху свежего алтайского меда и теплого меха. Мои предки поняли то, до чего официальная медицина дойдет лишь спустя десятилетия: лучшая броня империи — это не сталь клинка, а здоровье ее народа. А здоровье часто растет прямо из головы лесного царя оленя на заснеженном склоне Белухи.

Рот, кричащий после смерти (Казачий поединок)

Запах маральных рогов и родоновых вод рано или поздно должен был выветриться. Империя рухнула, и на смену джунгарским набегам пришла новая, куда более страшная и подлая война. В Туркестане поднимало голову басмачество. Сами себя они называли моджахедами — воинами священного джихада. За их спинами маячили английские винтовки «Ли-Энфилд» и зеленые знамена ислама, а впереди горели русские станицы.

Мой прадед по материнской линии прошел через эту мясорубку уже в годы Гражданской войны. От него я услышал историю, которую не напишут в учебниках. Историю о том, почему казаки никогда не отступают.

«Слушай сюда, — говорил он, прихлебывая чай из жестяной кружки, и его узловатые пальцы непроизвольно сжимались, будто держали эфес. — Когда их лава идет на тебя, тут нет времени стрелять. Винтовка — для окопа. А мы — кавалерия. Тут работает только сталь».

Патруль вылетает из-за бархана навстречу коннице налетчиков. Земля дрожит от топота копыт. Солнце вспыхивает на клинках. Казак привстает в стременах, подав корпус вперед. Шашка выхвачена из ножен еще за секунду до схождения — она уже живет своей жизнью, тяжелая, чуть изогнутая полоса литой стали.

В рубке есть одно нерушимое правило: бить нужно так, чтобы враг упал мгновенно. Но самое важное — *как* ударить.

Дед учил меня физике убийства. Если просто ткнуть лезвием или рубануть прямо, шашка может завязнуть в ключице или лопатке. Враг останется жив, и через мгновение его кривой нож окажется у тебя в боку. Поэтому правильный удар наносится с протяжкой.

— Ты не руби дерево, ты режешь воздух, — хрипел дед. — Кисть доворачиваешь в самый последний миг, когда клинок касается шеи. И тянешь руку на себя, к своему бедру. Острое железо входит под ухо и выходит где-то у позвоночника, но главное — оно перерезает шейные позвонки не поперек, а вдоль волокон хряща. Как ножом по маслу. Сносит голову начисто.

И вот здесь начинается то, от чего цепенели даже самые отчаянные головорезы.

Тело басмача по инерции пролетает еще несколько сажень, прежде чем кулем свалиться в пыль. А голова остается лежать на вытоптанном песке. Лицо искажено предсмертной гримасой, кровь заливают бороду.

Но тело продолжает жить отдельно от разума.

От потери давления и мышечного спазма челюсть упавшей головы начинает медленно опускаться. Рот открывается. Из разрезанной гортани со свистом выходит последний воздух. Это не крик боли — воздуха в легких почти нет. Это сухой, жуткий шипящий звук, похожий на воинственный клич, который обрывается бульканьем.

А глаза... Глаза продолжают моргать. Рефлекс. Нервный импульс заставляет веки смыкаться и открываться еще три-четыре раза. Ясный, мертвый взгляд смотрит в азиатское небо, пока зрачок не затянет мутной пленкой.

Басмаческая лава, несущаяся следом, видит это. Они видят своего воина, чья голова валяется уже в пыли и беззвучно орет им навстречу открытым ртом, хлопая глазами. Для суе-

верного кочевника нет ничего страшнее этого зрелища. Это знак того, что русский казак несет с собой саму смерть, которой плевать на законы природы.

Ужас сковывает их руки быстрее, чем страх. Взгляд мечущихся лошадей становится диким. Натягиваются поводья. Лава распадается. Кто-то заворачивает коня, кто-то бросается враспынную, давя своих же.

Упавшая разбойничья голова, продолжает беззвучно кричать и после своей смерти, обращал в бегство сотню вооруженных всадников. Потому что никто не хочет воевать с теми удалыми казачьими воинами. Мой род выживал там, где другие сходили с ума, именно благодаря этой холодной, абсолютной жестокости, которая была единственным языком, понятным на той границе.

Приемыш

Для казака конь никогда не был просто скотиной или средством передвижения. Это была половина его души. В хозяйстве он — подсобье, на охоте — верный товарищ, способный вынести хозяина от раненого клыкастого кабана или свирепого медведя.. Но главное — в бою. Утеря коня для станичника всегда считалась равносильной смерти: пеший казак посреди степи — легкая добыча.

Поэтому ночные набеги цыган были страшнее басмаческих сабель. Цыгане брали не золотом, они воровали душу станицы — лошадей. Под покровом ночи, когда табун пасся на лугах, их баронцы резали путы и уводили лучших жеребцов за считанные минуты.

Та ночь началась с тишины, а закончилась криками. Цыгане отбили небольшой табун казачьих лошадей. Поднятые по тревоге казаки вылетели из ворот станицы так, что земля загудела. Пыль столбом стояла до самого неба. За мчавшейся цыганской конницей тяжело переваливалась единственная крытая арба — там сидели их женщины и дети, весь скарб кочевья.

Гнали их к горному подъему. Еще четверть версты, еще один рывок коней — и шашки засвистят над головами воров. Казаки уже видели лица возничих.

И вдруг полог кибитки откинулся. Из темноты чрева телеги, прямо под несущиеся копыта казачьей лавы, полетел сверток. Замотанный в грязные пеленки, живой комок плоти упал на сухую, каменистую землю. Он даже не разбился — только закричал от удара тоненьким, разрывающим сердце голосом.

Это сделала мать. Чтобы спасти свою жизнь и жизни старших детей в повозке, она вышвырнула грудного младенца навстречу преследователям. Расчет был дьявольским и точным: ни одна казачья лошадь не наступит на живого ребенка. Кони вздыбились, храпя и раздувая ноздри, едва не выбросив всадников из седел. Лавина захлебнулась. Пока казаки осаживали храпящих коней и соскакивали на землю поднимать орущего цыганенка, ворье хлестнуло своих лошадок и исчезло в темноте ущелья вместе с угнанным казачьим табуном.

В станицу возвращались шагом. Впереди ехал мой прадед. На руках перед ним в седле лежал спасенный ребенок. Молчание было тяжелым. По законам войны этих оборванцев нужно было догнать и порубить. Но бросить дитя обратно в пыль никто бы себе не позволил. — Будет Степаном, — глухо сказал прадед, завозя найденыша во двор. — Раз Бог нам его под копыта бросил, значит, наш теперь.

Так в роду Кубышкиных появился Степан. И кровь в нем текла совсем другая.

Он вырос ладным, чернявым парнем с глазами цвета жженой карамели и густой кучерявой гривой чёрных волос. Лошади слушались его беспрекословно, будто понимали своего наставника. Когда пришло время выбирать ремесло, вопросов не возникло. Степан пошел в кузню. Его руки, казалось, сами знали форму металла. Лучших подков для алтайских боевых строевых коней, чем те, что ковал цыган Степан, во всей округе не найти.

Но вместе с силой в его руках жила тьма. Станичники уважали его труд, но боялись его взгляда. Степан знал травы, которые лучше растут при полной луне, умел заговаривать кровь и снимать жар одним прикосновением ладони. Старики крестились ему вслед: многие поговаривали, что приемыш занимается черной магией, той самой, которой пугают непослушных детей у костра. Он мог остановить чужого коня одним щелчком пальцев или заставить собаку выть всю ночь, глядя на луну.

Там же, в станице, жила Елена. Дочь старых донских родов, настоящая казачка. Она была его полной противоположностью. Если Степан лечил людей тайными знаниями земли и луны, то Елена была знахаркой от Бога и веры православной. Она исцеляла молитвами, отварами трав и светом своей души. Люди тянулись к ней со всей округи.

Когда чернокнижник-кузнец пришел свататься к целительнице, станица замерла в ожидании беды. Казалось, ад должен был разверзнуться. Но вместо грома случилась свадьба. Они обвенчались в церкви, и батюшка трижды обошел с ними аналой, хотя потом долго пил святую воду, бормоча молитвы от искушения.

Их союз породил чудо. Тьма и Свет сошлись, чтобы дать жизнь моей бабушке — Капиталине Степановне Кубышкиной. Говорили, что девочка родилась в сорочке, и когда пуповину перерезали, кузнец-отец заплакал впервые в жизни. В ее жилах смешался горячий цыганский нрав, умение подчинять железо и диких зверей, и тихая, светлая сила казачьего рода, умеющего жалеть врага настолько, чтобы забрать его выброшенного ребенка домой и назвать своим сыном.

Черная роза Алтая

В станице ее звали Капой. Для своих тринадцати-четырнадцати лет она была слишком взрослой, слишком яркой. Дитя двух миров: от отца-кузнеца ей досталась цыганская тьма волос и колдовской блеск огромных черных глаз, а от матери-знахарки — плавная стать казачки. Когда Капа выходила к реке полоскать белье, разговоры на другом берегу стихали. Мужики засматривались, бабы крестились. Было в ней что-то дикое, первобытное, притягивающее взгляд так, что невозможно отвернуться.

Но смотреть на красоту в те годы было опасно. Двадцатые годы на Горном Алтае пахли не медом, а кровью и гарью. Гражданская война здесь не закончилась взятием Зимнего — она ушла глубоко в горы, обернувшись басмаческим террором. Полчища «воинов ислама», вооруженные английскими винтовками, вырезали целые поселки под корень, мстя за падение Кокандского ханства и Бухарского эмирата. Советская власть держала границу зубами. Против них стояли штыки регулярных частей РККА, отряды ВЧК–ОГПУ и местная милиция. Всем Туркестанским фронтом железной рукой правил Михаил Фрунзе, выжигая банды каленым железом.

Именно в этот ад привел свою судьбу красный командир Георгий Фокин. Его отряд стоял расквартированным неподалеку от станицы Кубышкиных. Ему было уже крепко за сорок — жизнь помотала его по фронтам Первой мировой и этой новой, непонятной войны. Он видел тысячи смертей, его лицо изрезали морщины, а душу — усталость. И тут, посреди грязи, тифа и пороха, он увидел Капу.

Для него, выдавшего виды комиссара, эта девочка стала наваждением. Видением из другой жизни, где нет крови. А для нее, запертой в доме сурового кузнеца-отчима, этот взрослый мужчина в скрипучей кожаной куртке с маузером и шашкой на боку был воплощением власти, защиты и пугающей, запретной тайны.

Когда Георгий пришел свататься к Степану, в горнице повисла тишина. Кузнец медленно отложил молот. Разница в возрасте была чудовищной: девчонке едва исполнилось пятнадцать, командиру — далеко за сорок. По всем законам Станичного круга отец должен был спустить

такого жениха с крыльца. Басурманин ли, комиссар ли — старый казак чужаков к дочери не подпустит.

Но Степан посмотрел в глаза красному командиру. И увидел там ту же самую бездну, которая жила в нем самом. Увидел человека, который тоже знает цену чужой смерти. — Благословляю, — хрипло сказал кузнец. — Только если обидишь девку, Георгий, я тебя из-под земли достану. Хоть в Чека твоей, хоть в Москве. Моя кровь.

Венчания не было — новая власть попов не жаловала. Была лишь тихая роспись в сельсовете под портретом Ленина да лязг затворов красноармейцев во дворе, отдававших честь своему командиру.

Пятнадцатилетняя Капа Кубышкина шагнула из мира знахарских шептаний и запаха горячего металла прямо в револьверную портупею советского офицера. Она уезжала из алтайской глуши на тачанке, прижимая к груди узелок со своими лентами. За спиной оставалась родная станица, впереди ждала неизвестность большой страны, которую ее муж-комиссар строил на обломках Империи, заливая ее кровью врагов и своей собственной судьбой.

Красная роза и железная дорога

Москва оглушила Капу после тишины алтайских хребтов. Высокий военный чин Георгия Фокина распахнул перед пятнадцатилетней казачкой двери, за которые не попадали даже многие старые генералы. Просторный двухэтажный особняк с высокими потолками, паркетом, который нужно было натирать воском, и собственной кухаркой — женщиной в белом фартуке. Для девушки, еще вчера спавшей на печи в доме кузнеца, эта жизнь казалась сном.

Георгий любил ее иступленно, по-мальчишески, со всей тоской зрелого мужчины, нашедшего свой последний причал. Он часто уезжал в военные командировки — Туркестан все еще полыхал, требуя присутствия опытных командиров. Чтобы юная жена не сходила с ума от одиночества в гулких комнатах, он привез ей щенка — пушистый комок жизни посреди мертвого городского камня.

Вскоре живот Капы округлился. Роды были тяжелыми, но когда акушерка впервые поднесла к ней сверток, девочка увидела точную копию себя. София Георгиевна Фокина — так записали ребенка в московских метриках. Она унаследовала материнские тяжелые черные волны волос и тот самый пронзительный, почти гипнотический взгляд цыганского предка. Но вместе с красотой отца-комиссара она впитала его внутреннюю сталь.

Родня мужа приняла «сибирскую дикарку» настороженно, но сестра Георгия, служившая артисткой в одном из московских театров, отнеслась к ней с любопытством. Однажды, пока Георгий снова пропадал на фронтах усмирения басмачей, сестра прислала записку: ложи партера, премьера, ты должна увидеть настоящую Москву.

Для этого выхода сестра украсила волнистые волосы Капиталины огромной ярко-красной розой. В свете хрустальных люстр девушка выглядела как ожившая восточная сказка. Публика была в восторге: шептались, показывали пальцами, дамы перешептывались о том, откуда у красного командира такая экзотическая красавица.

Но для Капы этот вечер стал пыткой. Среди бархата кресел, запаха духов и чужих улыбок она чувствовала себя очень одинокой в золотой клетке. Чем громче аплодировали актеры на сцене, тем сильнее сжималось ее сердце. Перед глазами вставал не театральная сцена, а обволакивающая горная местность Алтая. Прозрачные, ледяные до ломоты в зубах реки, запах кедровой смолы и свобода. Свобода, которую заменили на повозку с золотом.

Она плакала беззвучно, крупными горячими слезами, которые капали прямо на шелк платья, прожигая в нем дыры. Сестра заметила это только к третьему акту. Увидев черную тоску в глазах Капы — тоску пленницы по воле — сердце актрисы дрогнуло. Артисты лучше других знают цену фальши.

Через три дня на пороге особняка стоял носильщик с чемоданами. Сестра молча сунула Капе в руку пачку денег, купила билеты в жестком плацкартном вагоне до самого Алтая и проводила ее вместе с крошечной Софией на перрон Казанского вокзала. Ни слова упрека, ни нотации. Просто спасение.

Когда Капиталина, очень уставшая и измученная дорогой, ступила на порог отцовского дома в станице, навстречу вышел Степан-кузнец. Он посмотрел на дочь. Потом перевел взгляд на внуку. И увидел в этом младенце кровь того, кто забрал у него единственное сокровище. — Ты сделала выбор, когда легла под комиссара, — голос Степана был тяжелым, как его молот. — Теперь живи с этим выбором. Мой дом закрыт для тебя. Он захлопнул дверь перед лицом дочери с грудным ребенком на руках.

У нее не осталось ничего. Ни родительского благословения, ни крыши над головой. Только узелок с пеленками и билет в один конец.

Когда Георгий вернулся из очередной командировки и вошел в пустой особняк, мир рухнул. Кухарка доложила, что молодая барыня уехала несколько дней назад. На столе осталась лежать лишь красная роза, давно осыпавшаяся и почерневшая.

Любовь такого человека, как Фокин, не могла закончиться просто разводом или письмом. Это была катастрофа вселенского масштаба. Человек, привыкший управлять полками и решать судьбы тысяч людей, оказался бессилён перед уходом одной девчонки. Одиночество в пустом московском доме оказалось страшнее любого басмаческого окружения.

Спустя неделю из Москвы пришла страшная весть. Георгий Сергеевич Фокин бросился под колеса мчавшегося курьерского поезда на подмосковном перегоне.

Капиталина узнала об этом из письма своей золовки — той самой сестры-актрисы. Москва хоронила героя революции, кавалера высоких орденов, блестящего стратега. А где-то в глухой алтайской деревне шестнадцатилетняя вдова прижимала к себе маленькую Софию, понимая, что теперь они обе прокляты всеми: и родом мужа, который потерял сына и брата, и собственным отцом, выгнавшим их на улицу. Отныне им двоим придется выживать в этом мире только на силе своей нестигаемой воли.

Пепел розы (Эпилог трагедии)

Весть о гибели Георгия под колесами поезда догнала Капиталину на Алтае вместе с письмом от его сестры-актрисы. В конверт была вложена еще одна бумага — официальное уведомление для родственников. Там черным по белому было написано имя отца погибшего: **Сергей Фокин**. Место жительства: Московская губерния, город Тверь. Возраст: 102 года.

Сто два года.

Когда Капа читала эти цифры, сидя у холодного очага в доме дяди Степана, ее бросило в дрожь. Она поняла страшную математику их брака. Если Георгию в Москве было за сорок, а ей едва исполнилось пятнадцать, то он родился, когда его отцу было уже далеко за шестьдесят.

Георгий Сергеевич Фокин был поздним ребенком. Почти библейским Исааком. Его отец, Сергей, помнил еще отмену крепостного права молодым парнем. Он был ровесником тех бородатых донских казаков, которые первыми пришли на Алтай в 1870 году. Кровь старого тверского рода текла в жилах московского комиссара медленно, тяжело, но она была невероятно густой и сильной. Эта долгая жизнь отца объясняла многое в самом Георгии: его старикивскую мудрость, внезапные приступы черной меланхолии и ту звериную хватку, которой он держался за молодую жену. Для человека, который появился на свет вопреки законам природы, потеря единственного источника света означала физическую смерть.

Письмо сестры продолжалось дальше. Она писала, что старый Сергей Фокин, несмотря на свои сто два года, сохранил ясный ум. Когда ему принесли весть о том, что сын — надежда

фамилии, красный командир, гордость новой власти — бросился под поезд из-за сбежавшей девчонки, старик не заплакал.

Он сидел в своем кресле в тверском особняке, смотрел невидящими глазами в стену и только мелко крестил воздух высохшей рукой. А потом произнес одно слово: — Кубышкина...

Так моя бабушка осталась вдовой в шеснанадцать лет. У нее не было даже законного права оплакивать мужа — жена самоубийцы в те годы становилась изгоем. На руках у нее оставалась крошечная София, унаследовавшая фамильную твердость отца и дикую красоту матери. Им двоим предстояло выживать там, где заканчивалась любая человеческая милость. История любви московского аристократа и алтайской казачки закончилась на промерзшем перроне, оставив после себя лишь запах железа, увядшую красную розу и столетнюю пустоту в старом доме в Твери.

Живые воды Белухи

Гора Белуха не отпускает тех, кто вдохнул ее ледяной воздух. Она тянула Капиталину обратно с такой же силой, с какой когда-то вытолкнула из московской клетки. Вернувшись на Алтай вдовой с клеймом «жены самоубийцы», она знала: единственное место, где ей дадут дышать — это целебные земли у подножия царицы гор.

Она устроилась работать нянечкой-сиделкой в только что открывшуюся водолечебницу. В те годы советская власть начала активно осваивать уникальные радоновые ключи Катунского хребта. Место называлось тогда просто — «курорт у Рахмановских ключей» (будущая Белокуриха). Сюда, подальше от столичных глаз, свозили самых тяжелых больных. И самой страшной категорией пациентов были «ходячие мертвецы» Гражданской войны. Мужчины тридцати лет, выглядящие как старики: без рук, без ног, с пробитыми легкими и выжженными глазами.

Капа ухаживала за ними. Ее цыганская интуиция помогала чувствовать приближение лихорадки, а твердая казачья рука умела перевязывать гниющие раны так, что боль отступала. Но главное — она давала им надежду. Среди этих искалеченных бойцов прошел слух: у черной кухарки Кубышкиной глаза видят человека насквозь, и там, где она сидит, смерть боится подойти.

Савелий Антонович Бердюгин был одним из них. Бывший красный партизан, подрывник. Он вернулся с фронта целым физически, но его внутренности были изранены в сражениях с басмачей. Каждый вздох давался ему через острую боль в груди. Он пришел на воды умирать, а нашел причину жить.

Он часами сидел на лавочке во дворе лечебницы, глядя на снежную шапку Белухи, пока мимо проходила Капа. Ему нравился запах полыни, который всегда исходил от ее волос, и то, как решительно она ставила тяжелые ведра с водой. Это была женщина-камень, пережившая Москву, отцовское проклятие и гибель мужа-комиссара. Рядом с ней его собственная боль казалась терпимой.

Их свадьба была тихой. Никакого золота, никаких пышных застолий. Просто расписка в сельсовете села Берель. Но для Капы это было важнее всех московских балов. Савелий смотрел на нее так, словно она была сделана из чистого света.

А потом произошло чудо усыновления — Савелий официально переписал метрики Софии. Так София Георгиевна Фокина исчезла навсегда. Из бумаг уездного ЗАГСа на свет появилась: **Софья Савельевна Бердюгина, год рождения — 1926.**

Жизнь закипела. Дом Бердюгиных наполнился шумом, которого так боялась юная Капа в московском особняке, но который оказался самым сладким звуком на свете. Семеро детей. Один за другим, они появлялись на свет крепкими, черноволосыми, похожими одновременно на сурового сибиряка-отца и дикую красавицу-мать.

При этом три самых последних их ребёнка были младше меня по возрасту. Это означает, что моя бабушка Капиталина Степановна родила своих последних детей, когда ей было уже около 50 лет. Род Бердюгиных оказался настолько мощным, плодородным и живучим, что пророс сквозь весь XX век, дотянувшись до вашего собственного детства. Кровь кубышкинской кузницы, фокинской аристократии и бердюгинской партизанской удали смешалась и дала множество новых жизней.

Они жили долго, благодаря чистому воздуху гор и заботе жены. Капиталина Степановна расцвела вновь, превратившись из затравленной девочки-подростка в могучую матриархальную фигуру. Их дом всегда был полон — соседи знали, что у Бердюгиных никогда не откажут в радушном гостепреимстве и в радостном застолье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.